



ТАТЬЯНА
КОРСАКОВА

королева мистического романа

ЧИТАЙТЕ РОМАНЫ ТАТЬЯНЫ КОРСАКОВОЙ

Ничего личного	Смертельное танго
Хозяйка колодца	Ты, я и Париж
Третий ключ	Судьба № 5
Дом у Чертова озера	Хрустальное сердце
Пепел феникса	Миллионер из подворотни
Волчья кровь	Мужчины не плачут
Слеза ангела	Паутина чужих желаний
Печать василиска	Вранова погоня
Проклятый дар	Сердце ночи
Музы дождливого парка	Лабиринт Медузы
Самая темная ночь	Темная вода
Час перед рассветом	Снежить
Ведьмин клад	

ЦИКЛ «ТАЙНА ВЕДЬМЫ»

Не буди ведьму
Ведьмин круг
Беги, ведьма!

ЦИКЛ «ГРЕМУЧАЯ ЛОЩИНА»

Гремучий ручей
Шепот гремучей лощины
Усадьба ожившего мрака
Цербер-храпитель

ЦИКЛ «СТРАЖЕВАЯ БАШНЯ»

Свечная башня
Светочи тьмы

ТАТЬЯНА
КОРСАКОВА



ПАУТИНА
ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ



Москва
2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К69

Художественное оформление *Е. Петровой*

Дизайн серии *Е. Дмитриева*

Корсакова, Татьяна.

К69 Паутина чужих желаний / Татьяна Корсакова. — Москва : Эксмо, 2024. — 352 с.

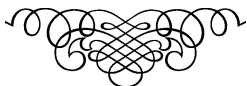
ISBN 978-5-04-196366-8

Воровать нехорошо. Но иногда бывает так трудно удержаться, когда вещь так и манит своей красотой и доступностью. Вытащив из кармана простоватой девушки странный медальон на тоненькой цепочке, Ева, сама не замечая того, глупой мухой угодила прямоком в паучьи сети. Теперь жизнь девушки принадлежит уже не ей. Тщательно плетет невидимый паук свой узор. Скоро паутина будет завершена. Времени осталось совсем немного.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-196366-8

© Корсакова Т., 2024
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024



Воровать нехорошо.

Нет, это не мамины слова. Моя мама сказала бы: «Бери, Евка, все, что плохо лежит, потому что за просто так тебе никто ничего не даст». Это я сама для себя решила, что воровать нехорошо. Но уж больно безделица занятная: не пойми из какого металла цепочка, а на ней — красный камешек, тоже мне неизвестный. Безделица, наверное, — простая бижутерия, копейки стоит. Если б вещь была дорогой, разве ж стала бы эта курица щипаная ее в кармане пальто таскать! Она б ее на шею надела или на худой конец, в сумочку положила бы, а не в карман. Значит, не очень и нужна безделица-то...

Она упала прямиком в лужу, а курица и не заметила, пытаясь в зарядившей с самого утра мелкой измороси рассмотреть приближающийся автобус. Чтобы достать безделицу, мне пришлось совершить подвиг: стащить с руки перчатку, а руку сунуть в ледяную и наверняка кишашую

микробами воду. Безделица обнаружилась сразу, словно меня и ждала, обернулась вокруг замерзших пальцев, приласкала неожиданным теплом. Странная вещица, у меня с детства нюх на такие, и не бижутерия (нечего совесть успокаивать) — старинная работа, изящная. Пожалуй, надо пропажу вернуть законной владелице...

Надо, да вот только не получилось: рука с цепочкой сама потянулась к шее, щелкнул крошечный замочек, кожу на груди, там, куда нырнул камешек, что-то больно царапнуло. Все, у безделицы теперь новая хозяйка!

А курица эта, Маша-растеряша, уже на всех парах летела к притормаживающему у тротуара такси. На автобусах мы, видите ли, ездить непривычны, нам такси подавай. Да что это я, в самом деле?! Я ж и сама на автобусах уже лет пять не ездила, все больше на своей машине или в крайнем случае тоже на такси. Тем более что погода мерзостная, хоть и весна на дворе. С такой весной и осень не нужна. А маршрутки все как одна катятся в ненужном направлении, и холод собачий.

Маша-растеряша вскочила в такси мгновением раньше меня, плюхнулась на заднее сиденье, с облегчением вздохнула. Ишь, какая приткая!

— Занято, красавица! — Водила, дяденька ярко выраженной кавказской национальности, взглянув на меня, тоже вздохнул, но с явным сожалением. Дяденьке, наверное, приятнее катать по городу длинноногих брюнеток стервозной наружности, чем вот такую невзрачную особь.

— А может, нам по пути? — спросила я, усаживаясь рядом с Машей-растеряшей.

— Мне на Калинина, — сказала та с виноватой улыбкой.

— Вот и мне на Калинина!

Это ж надо какое совпадение! Я успокоилась и стала разглядывать соседку. Сдается мне, что она из тех, кто готов безропотно уступить место ближнему своему, протянуть руку помощи, подставить левую щеку, перевести бабульку через дорогу — в общем, девица из нестройных и плохо организованных рядов идиоток-идеалисток. И выглядит соответствующе: пальтишко мышино-серое, волосенки мышино-серые, глаза тоже, косметики никакой. Хотя оправка очков роскошная — серебристая и изящная, да толку с той оправы, если стекла в ней толщиной с пол моего пальца! Ох, не повезло девке, такую и обманывать как-то совестно.

В душе шевельнулась непрошенная жалость, но я задушила ее на корню. Нечего всяких жалеть! Меня никто не жалел. Не отдам безделицу, ни за что не отдам! Что упало, то пропало...

— Эй, красавица! — Водила обернулся, огладил меня взглядом маслено-черных глаз, одобрительно поцокал языком. — Может, са мной съедэш? А я с тэбя денег мала-мала возьму.

«Денег мала-мала» — это, конечно, хорошо, да вот только не люблю я ездить на переднем сиденье. Я осторожная и статистику ДТП знаю, поэтому сажусь исключительно сзади, аккуратно за

водителем. Но там сейчас Маша-растеряша при-тулилась, придется, значит, посередке.

Кожу снова что-то царапнуло, на сей раз больнее, чем раньше. Да что же там так царапается-то, черт возьми?! С виду камешек был гладкий, без зазубрин, и оправа у него тоже гладкая. Может, это не камешек царапается, а совесть моя, еще не до конца убитая? Ладно, доскачу до авто-сервиса, возьму свою машинку, приеду домой и там разберусь: совесть это или что другое.

А водила нам с Машей-растеряшей попался ужасный. Мало того что болтливый — ни секунды тишины, — так еще и лихач.

— Вай, красавица, что за город — адны пробки, никакой тэбе скорости! Вот у меня дома, — он опять обернулся и подмигнул мне чернильным глазом, — вот у меня дома — это скорость! Я бы тэбя, красавица, вмиг до мэста даставил. — И тут же без перехода: — А к кому такой жэнцын роскошный едэт?

— За дорогой следи, дядя! — Вообще-то я не хамка и без лишней надобности людям не грублю, но уж больно водила приставучий. Не люблю таких.

— Вай, такой красивый жэнцын и такой злой! — Водила и не думал обижаться. Кстати, за дорогой он по-прежнему не следил, на меня пялился: то в зеркальце заднего вида, то, как сейчас, развернувшись к нам всем корпусом. Вот ведь урод!

— Останови машину! — Мне моя шкура дорога, я с этим камикадзе больше и метра не проеду, пусть с ним Маша-растеряша катается, ей, похоже, все равно...

Не остановил, запричитал что-то возмущенное на своем тарабарском языке, вместо тормоза, козлице, нажал на газ.

Сначала я почувствовала, как машину занесло, потом услышала истошный визг соседки и уже после этого сподобилась глянуть в окно. Лучше бы не смотрела...

Здоровенный джип шел юзом — прямо на нас. И от этого неуправляемого снаряда наш водила пытался уклониться...

Я не испугалась. Не потому, что такая смелая — просто не успела. Успела только подумать: «Ну все, кранты...»

И кранты случились... Свет мигнул и погас. Черепную коробку разорвал сначала крик, потом боль.

А потом я умерла...

* * *

Приглашение от Ефима Никифоровича Вятского, старинного папенькиного приятеля, принесли еще третьего дня. Я, помнится, твердо решила не ехать. В обычные дни у Ефима Никифоровича скучно, из развлечений только вист да разговоры об охоте. В вист я играть не умею, охоту не терплю. Что ж мне там делать?

Я бы и не поехала, сослалась бы на мигрень, провела бы день за книгой или за вышивкой, если б не мадам. Мадам велит называть ее маменькой, смотрит ласково, а в глазах лед. Сколько лет прошло? Осенью, считай, шесть будет, как папенька ее в дом привел, ее и Лизи, а я все никак поверить не могу и привыкнуть.

Мадам красивая: кожа белая и гладкая, глаза цвета берлинской лазури, волосы каштановые, с отливом в медь, фигура... Про фигуру промолчу, скажу только, что не сыскать такого мужчины, чтоб на мадам не обернулся. А папенька из-за этой ее красоты страдает, дворня шепчется, что ревнует сильно. Ревнует, оттого и злой все время. Стэфф говорит, что с маменькой моей он другим был — добрым и веселым. Да я и сама помню. Бывало, посадит меня к себе на колени и давай щекотать, а когда у меня уже сил смеяться не останется, погладит по голове и скажет так ласково: «Ох ты, Сонюшка — свет в оконце!»

Все это давно в прошлом. Маменьки нет, а есть мадам со своей Лизи, и на колени меня к себе папенька не посадит, потому как я уже не маленькая девочка, а барышня на выданье. И не Сонюшка я больше, а Софья. И свет в оконце у папеньки теперь не я, а Зоя Ивановна, мадам...

Отвлеклась. Уж больно воспоминания тяжкие. Стэфф говорит — забудь, не гневи Бога обидами, а у меня все никак не выходит. Да и как за-

быть, когда каждый день — словно напоминание о том, что потеряла? Когда в матушкином будуаре мадам распоряжается, а в моей комнате — Лизи. Мадам сказала, что у Лизи слабые легкие и ей нужно много солнца, а большие всего его в моей спальне...

Теперь мы со Стэфой живем на втором этаже. Новая комната большая, гулкая и вся как-кая-то стылая. Даже летом в ней зябко, а зимой так и вовсе холодно. Зимой Стэфе приходится согревать мою постель горячими кирпичами, а меня — липовым чаем. Сама она живет рядом, через стенку. Папенька не решается сослать ее в людскую, потому что у Стэфы, как сказала однажды мадам, особое положение. Я помню ее столько же, сколько и себя саму. Она при мне не то нянькой, не то компаньонкой, не то прислугой.

Нет, все не так! Стэфя для меня самый родной человек, роднее у меня никого нету. Она странная. Худая, высокая, глаза черные, что угли. Мне иногда даже кажется, что по ночам они светятся. Как-то в детстве я ей про то сказала, а она только засмеялась. Смех у нее тоже странный — точно ворона каркает. И волосы что вороново крыло, без единой седой волосинки. А вот морщин много, и руки некрасивые, покореженные, с длинными желтыми ногтями. Ногти, верно, желтые оттого, что Стэфя курит трубку, черную, прогоревшую, с серебряным колечком у основания. Не знаю, где Стэфя

табак берет, только пахнет ее трубка всегда по-особенному: то орехом, то вишней, то сосновой смолой, а то и вовсе чем-то незнакомым, сладковато-дурманным. Я однажды попросила, чтобы Стэфамне дала попробовать покурить, а она заругалась, сказала, что мала я еще и глупа и что не к лицу юной графине всяким непотребством заниматься. А трубку загасила и в складках платья спрятала. Платья у Стэфы тоже черные, как глаза, волосы и трубка. Наверное, за то ее в округе считают ведьмой и боются, даже мадам. И только я люблю.

Снова не о том! Я бы к Ефиму Никифоровичу в гости не поехала, да мадам настаивает. Если мадам что удумает, ее не переупрямить.

— Софья, довольно дичиться! Ты ведь не ребенок уже, должна понимать, что у отца твоего с графом Вятским отношения не только дружеские, но еще и деловые. — Мадам многозначительно приподнимает тонкие брови. — Ефим Никифорович — человек строгий и основательный, коль просил явиться всем семейством, значит, на то у него свой резон имеется.

— А Настена сказывала, что Ефима Никифоровича сын из Санкт-Петербурга вернулся. — Лизи рассеянно улыбается, обмахивается костяным веером.

Зачем ей веер? Он нужен, когда лето и душно, а сейчас весна, холод и сырость. В доме топят два раза на дню, но с дымоходом что-то случилось и оттого пахнет дымом. Папенька давно

собирается печника позвать, чтобы посмотрел, отчего дым, да все забывает. А мадам такими пустяками не интересуется. И Лизи тоже. Она вообще почти ничем не интересуется, живет в каком-то своем мире и, сдается мне, совершенно счастлива. На Лизи у меня даже злиться не получается. На мадам она похожа только снаружи. Такая же красивая: та же медь волос, синева глаз, изящество фигуры. На этом все. Того, чего в мадам с избытком, злости и расчетливости, в Лизи нет нисколечко. Впрочем, и доброты в ней тоже нет. Стэффа как-то сказала, что цветку ни зло, ни добро ни к чему. Я ее тогда не поняла, а сейчас вот понимаю. Лизи — это цветок, красивый и равнодушный.

— Ну вернулся, и что? — спрашиваю просто так, чтобы позлить мадам.

Что Сеня приехал домой, я и без Лизи знаю, давеча та же Настена, язык без костей, о том экономке Анне Степановне рассказывала. Да не только про то, что молодой граф в родные пенаты пожаловать изволили, а еще и что товарища с собой привезли, а товарищ тот красоты невиданной. Глупость, наверное. У Настены все писанные красавцы. Стэффа говорит, что она хоть и видная из себя девка, да только дурная и до мужского брата слабая...

— Софья! — Мадам смотрит с укором, еще не злится, но уже начинает раздражаться. — Семен Ефимыч и в самом деле вернулся из Санкт-Петербурга. — Тут она вздыхает, закатывает

глаза к потолку. Я понимаю почему. Мадам сама из Санкт-Петербурга и привыкнуть к здешней глуши до сих пор не может. А пусть бы и не привыкала! Пусть бы ехала в свою столицу! — И, позвошь заметить, молодой граф Вятский весьма подходящая партия... — Ну вот, сейчас она скажет, что Семен — подходящая партия для Лизи, и я не должна мешать сестриному счастью, — весьма подходящая партия для тебя! — заканчивает мадам, и я замираю от удивления...

* * *

Оказывается, на том свете плохо. Может, я за свои прегрешения попала напрямиком в ад, как и предсказывала маманька? Мне было очень больно, так, что хотелось выть в голос.

Я и выла, громко, до хрипоты. Блуждала в сером мареве, натыкалась на что-то или кого-то, шарила руками в вязкой пустоте, искала дверцу. Если в ад есть вход, то должен быть и выход. Мне не нужен парадный, я могу и через черный, только бы выпустили. Я бы раскаялась, честное слово, и все в своей жизни непутевой пересмотрела, стала бы на путь истинный.

Нашлась дверца. Сначала я увидела тонкую полоску света. В моем вязко-сером аду света не было. Значит, выход близко, надо только постараться, поднапрячься и доползти до дверцы...

Доползла. Я не я была бы, если бы не доползла. И вправду дверца, маленькая, резная, с прохлад-

ной ручкой и ключиком в замочной скважине. Ключик красивый, с красным камешком — где-то я уже такой камешек раньше видела, — удобно ложится в ладонь. Ну, вперед!

Я открыла глаза и закричала от нестерпимо яркого света. Куда ж это дверца меня привела — на новый уровень ада? Не буду смотреть! Закрою глаза и не буду. Что хотят, пусть со мной делают, а я не могу...

— Ева... Евочка... — Голос женский, незнакомый. — Доктор, мне показалось, или она глаза открывала?

— Открывала, Раиса Ивановна. — Второй голос мужской и тоже незнакомый.

— Ой, господи! Ой, слава тебе, всемогущему! — Женский голос запричитал, зашептал что-то торопливо, скороговоркой. Молитву, что ли? Интересно, кто это обо мне так на том свете печется? Бабушка могла бы, но я бабушкин голос узнала бы из миллионов. — Я же говорила, что кома — это не навсегда, я же говорила, что Евочка наша — сильная девочка, что она выкарабкается.

И Евочкой меня тоже никто никогда не называл, только бабуля. Мама, когда была трезвая, иногда звала официально, по-паспортному, — Еванжелиной, но чаще — Евкой-заразой. Отчимы, те вообще, по-моему, не знали моего имени. Воздыхатели частенько называли Ангелом, это, наверное, в противовес моему совсем не ангельскому характеру. Нет, один человек все-таки обращался ко мне ласково: Евочка-припе-

вочка, Ева-королева... Вовка Козырев, друг детства, так меня называл. Но где я, а где друг детства Вовка!

— Раиса Ивановна, вы бы мне не мешали, мне надо посмотреть, убедиться... — Чьи-то пальцы коснулись моего лица, не грубо, но и не особо церемонясь, потянули вверх веко — в глаз тут же ударил яркий луч света, резанул по сетчатке, выжег дырку в мозгу.

— А-а-а! — Я заорала и дернулась, хотела еще отпихнуть наглую лапу, но не смогла — что-то не то творилось с моими собственными руками, не слушались они меня. — Руки уברי, урод! — И с голосом не то: мой громкий и звонкий, а этот какой-то странный, комариный писк, а не голос.

— Спокойно, Ева Александровна, не надо так нервничать, свет я сейчас уберу. Одну секунду дочку.

Не обманул, свет убрал и лапы заодно. Но глаза я все равно открывать не стану, хватит мне одной дырки в мозгу.

— Ева Александровна, вы бы открыли глаза. Обещаю, больно не будет.

Обещает он! Да только я не из тех, кто верит обещаниям. Я вообще ничему не верю: ничему и никому.

— Евочка, солнышко, ну открой глазки, ну посмотри на нас с доктором! — В женском голосе слезы. Чего это она из-за меня так убивается? И кто она вообще такая? Может, и в самом деле больно не будет? Любопытно же...

Доктор обманул, но не сильно. В том смысле, что боль была, но вполне терпимая, к такой привыкнуть — раз плюнуть.

— Вот и умница, хорошая девочка. — У доктора странное лицо: большое, круглое, с размытыми чертами. Я поморгала, но картинка сделалась лишь немногим четче. Что-то не то у меня с глазами, кажется, я хуже видеть стала. Стоп, а что еще у меня не в порядке?

Попытку сесть доктор пресек на корню, положил ладони мне на плечи, легонько надавил.

— Тихо-тихо. Ишь, какая прыткая! Месяц между небом и землей болталась, а тут гляди ж ты: не успела глаза открыть, а уже бежать собирается.

Кто это месяц между небом и землей болтался? Я болталась?!

— Евочка, как же я рада, девочка моя! — Женщина, уже немолодая, с уложенными в аккуратную прическу пепельно-серыми волосами и испещренным морщинами худым лицом, совершенно незнакомая. В линиях голубых глазах — слезы, в натруженных руках — платочек.

— Вы кто? — Говорить тяжело, потому что во рту сушь невероятная. Наверное, из-за этого собственный голос кажется чужим.

— Я кто? — Женщина испуганно прижала руку с платочком к груди. — Евочка, деточка, я же Рая — экономка твоя.

Экономка? Да у меня отродясь экономок не водилось.

— Евочка, ты меня не помнишь, да? — Женщина, считающая себя моей экономкой, схватила доктора за рукав халата и спросила с отчаянием в голосе: — Доктор, что же это такое?

— Раиса Ивановна, не волнуйтесь. — Доктор мягко, но настойчиво оттер ее от моей кровати, посмотрел на меня лишь самую малость озабоченно. — Ева Александровна, вы можете с нами поговорить?

Глупый вопрос, я ведь с ними и так уже разговариваю.

— Могу. — Я попробовала кивнуть головой, и больничная палата сразу качнулась и поплыла.

— Вот и чудненько! — Глаза доктора, неожиданно маленькие для такого большого лица, радостно блеснули. — Вы помните, что с вами произошло?

Приключилось... Кранты со мной приключились — вот что! Села не в то время и не в ту машину, попала в аварию, думала, что умерла, а оказалось, месяц в отключке провалялась.

— Помню, я попала в аварию. — На женщину, испуганно мнущую носовой платок, я старалась не смотреть. Может, она и не реальная вовсе. Может, у меня галлюцинации — последствия черепно-мозговой травмы. Ведь наверняка у меня была черепно-мозговая травма, если голова даже спустя месяц раскалывается. Интересно, а доктор настоящий или тоже глюк? Для глюка он какой-то слишком осязаемый.

— Замечательно! — чему-то обрадовался доктор. — В смысле, замечательно, что вы это помните, — тут же поправился он. — А вот Раису Ивановну нисколечко не помните?

— Нисколечко.

— А Севочку? — подала голос женщина. — Севочку тоже не помнишь? Евочка, да как же так, ты же Севочку так любила!

Евочка-Севочка... Никого не помню! Ни-ко-го!

— Амнезия, — доктор потер пухлые ладошки, — банальная ретроградная амнезия. Так иногда случается после черепно-мозговых травм.

Амнезия. Слово знакомое, с неприятным кислым привкусом. Интересно, если у меня амнезия, то почему я помню, как она называется? И вообще, маму помню, отчимов своих, всех четверых, помню, Вовку Козырева помню, а экономку Раю — нет. Избирательная какая-то амнезия.

Я уже хотела было спросить об этой избирательности, но у Раисы Ивановны зазвонил мобильный.

— Да, Амалия, я вас слушаю. — Лицо моей новообретенной экономки вдруг поплыло, сделалось каким-то невыразительным и скучным. Скуку эту оживлял лишь злой огонек в глазах. Огонек подсветил их, добавил красок, сделал молодыми и красивыми. — Я в клинике, Амалия, где ж мне еще быть в такое время! А вот и не глупости! Все не глупости! — Раиса Ивановна посмотрела на меня немного испуганно и понизила голос до громкого шепота: — Евочка в себя

пришла. А вот так, взяла и пришла! Амалия, вы уж меня извините, не могу я сейчас говорить, домой приеду, все расскажу. А хотите, сами в клинику заедьте, а то за месяц были только один раз...

Любопытно, что ответила на столь пламенную речь Амалия (кстати, это имя мне тоже ни о чем не говорит)? Если верить собственным глазам, то какую-нибудь гадость, потому что Раиса Ивановна обиженно поджала губы, а мобильный с непонятным раздражением зашвырнула в сумочку.

— Прости, Евочка, — сказала Раиса Ивановна извиняющимся голосом, — не удержалась. Это Амалия звонила... — Она всмотрелась в мое лицо и спросила без особой, впрочем, надежды: — Амалию ты тоже не помнишь?

— Не помню, — подтвердила я.

— Ну, будь моя воля, я б ее тоже забыла, — проворчала Раиса Ивановна. — Амалия — последняя жена Александра Петровича, твоего покойного отца.

Интересное кино — последняя жена моего покойного отца! Нет, я, конечно, не маленькая, понимаю, что у меня есть настоящий папенька — предшественник многочисленных отчимов. Вот только представляла я его себе чем-то весьма условным и безликим — так, набор паспортных данных, а не живой человек. А тут, оказывается, у меня не только папенька имеется, то есть имелся, но еще и мачеха. Мало мне отчимов...

— И что она? Нет, ну в самом деле интересно, чем моя мачеха так насолила моей экономке.